

**Владимир Александрович
Соллогуб**

Старушка

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Владимир Александрович Соллогуб

Старушка / Владимир Александрович Соллогуб – М.: Книга по Требованию, 2011. – 46 с.

ISBN 978-5-4241-3236-0

40-е годы XIX века - период наибольшей популярности, время творческого подъема Владимира Соллогуба. Именно в эти годы он, знакомый почти со всеми писателями, начиная с Пушкина и Лермонтова, создает свои лучшие повести "Большой свет", "Тарантас", "Метель". В них Соллогуб предстает внимательным исследователем различных слоев русского общества, и прежде всего столичного высшего света. Отнюдь не будучи разоблачителем и обличителем высших общественных сфер, Вл. Соллогуб все же точно подметил пороки и болезни хорошо знакомой ему среды и оставил нам ее достаточно объективный, резкий портрет.

ISBN 978-5-4241-3236-0

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

Соллогуб Владимир
Александрович
Старушка

Владимир Александрович Соллогуб

СТАРУШКА

Повесть

1

ОТЕЦ И ДОЧЬ

В четвертом этаже довольно грязного дома Офицерской улицы сидела у окна перед пальцами молодая девушка и о чем-то думала. Окно было заставлено растениями и задернуто занавеской. В комнате было опрятно, хотя по скудному ее убранству не трудно было отгадать, что жильцы - люди весьма небогатые.

Диван красного дерева с выгнутой спинкой, несколько стульев, обтянутых некогда голубой, а ныне желтоватой материей, овальный стол, кровать за ширма?и, у кровати сундук, комод, покрытый клеенкой, шкаф с домашней утварью, пальцы, ярко вычищенный самовар и старинные бронзовые часы вероятно, последний остаток более счастливых времен - вот все, что наполняло низенькую, но, впрочем, довольно вычурно расписную комнату. Во всем проглядывала бедность, но бедность с некоторой претензией, обнаруживающей как будто право на большее довольство. Между окон висело зеркало в почерневшей раме. На столе лежало несколько французских романов, маленький исписанный альбом и несколько золотых безделок, браслетов, брошек, серег в фарфоровом блюдечке.

Сквозь полурастворенную дверь вкдка была небольшая кухня, в которой здоровая кухарка с засученными рукавами усердно что-то стирала, приговаривая шепотом несвязные слова.

Молодая девушка, сидевшая у окна, была из числа тех, которые рождаются как будто ошибкою на севере.

Черная как смоль коса едва укладывалась тяжелым венцом над ее правильной, несколько смуглой головкой.

Большие черные глаза то сверкали решимостью и страстью, то вдруг, испуганные своей дерзости, прятались поспешно за длинными ресницами. Густые брови придавали иногда странную суровость детскому личику; но суровость эта скоро смягчалась нежным выражением взора, добродушной улыбкой ребенка, который и в печальной доле не знает еще печали.

Она сидела и думала - о чем, кто это скажет? Кто выразит, о чем думает молодая девушка, когда ей минуло семнадцать лет, когда глаз ее черен и она без свидетелей забыла свое рукоделье, уронила иголку и носится душой в целом океане упоительных догадок?

Очевидно, в мыслях молодой красавицы не было ничего безотрадного, напротив, в чертах ее лица выражался иногда веселый блеск шаловливого удовольствия, вероятно, при каком-нибудь шуточном, но задушевном воспоминании. Она вдруг улыбалась и потом, как будто забыв, что она одна в комнате, совестилась своей невольной улыбки, хмурила брови и принимала важный вид. Но притворный гнев не удавался. Молодость превозмогала врожденное чувство женской скрытности, и во взоре красавицы выражалась внезапно не детская насмешка, не выученная холодность, а тихая, глубокая, беспредельная нежность. Душа ее светлела в новом, торжественно грустном упоении. И вдруг ей становилось чего-то страшно. Она как бы желала чего-то, ждала чего-то и потом боролась с тайным опасением, не знала, что ей делать. Наконец она вдруг решительно вскочила с

своего места, отодвинула растения, отдернула занавеску и отворила окно. Теплый ветерок пахнул в комнату. Вечер был весенний и светлый, как бывают весенние вечера в Петербурге. Молодая девушка взглянула сперва на небо, а потом, прислонившись на подоконник, с большим вниманием начала слушать шарманщика, который, с фуражкой в руке, жалобно на нее поглядывала, наигрывая из "Фрейшюца" марш. На улице все было по-обыкновенному. По тротуару шел чиновник с портфелем и завязанной щекой. На перекрестке будочник бранил заспанного извозчика. У погребка нищий, в фризовой шинели и с красным носом, нюхал табак. Перед мелочной лавочкой стоял лавочник в переднике и пил вприкуску чай из стакана. Прошли, озираясь, две дамы в кисейных шляпках, а за ними промелькнули, помахивая тросточками, два молодца в фуражках и светлых пальто. Проехало несколько четвероместных ямских карет, нагруженных мирными семействами на возвратном пути с дач. Прошло несколько пожилых женщин с большими букетами пахучей сирени в руках.

В этой подвижной картине весенней петербургской жизни таилась, вероятно, особая прелесть для любопытной красавицы. Она не спускала глаз с проходящих и следила с большим вниманием за каждым их движением. На одно место она только упорно не глядела, а именно: на третий этаж противоположного дома. В этом доме было тоже отворенное окно, ровнехонько перед окном молодой девушки, но оно не было уставлено растениями, не украшалось занавеской. Из него клубом валил густой табачный дым, слышался собачий лай и раздавалось дребезжащее бречанье расстроенных фортепьян.

При появлении смуглой головки лай собаки превратился в завывание, музыка умолкла и последнее облако дыма вознеслось, раздваиваясь, к небу. Из-за этого облака показалась белокурая голова молодого человека самой приятной наружности. В эту минуту он в особенности был хорош. В чертах его была радость, в глазах - любовь. Пристально, пламенно, страстно глядел он на милую соседку, и глядел так же упорно, как она избегала его взора. Но если справедливо то, что говорится о магнетическом влиянии воли, то она, верно, чувствовала этот гжучий, неодолимый взгляд; и действительно, дыхание ее становилось чаще, сердце ее билось, и недвижная стояла она и все пристальнее и бессознательнее глядела на шарманщика.

Вдруг крупная серебряная монета звонко ударилась о мостовую подле самой шарманки. Невольным движением молодая девушка быстро подняла голову и опомнилась; но было уже поздно: взоры их встретились. Он стоял перед ней сложив руки и глядел так жалко, так трогательно, что она не в силах была отвести от него взора. Он поклонился и приложил руку к сердцу. Она на поклон не отвечала, но покраснела по уши и в замешательстве сорвала единственный цветок, украшавший ее растения. Так стояла она, перебирая в руках оторванную ветку, смущенная, кроткая, покорная и прикованная сверхъестественной силой.

Молодой человек продолжал свои телеграфические знаки. Правой рукой начал он писать что-то на левой ладони и снова потом сложил руки, как бы умоляя об ответе. Молодая девушка оставалась бездвигна.

Сосед снова начал свою безмолвную речь. На губах его шевелились слова моления. Надежда и отчаяние попеременно проявлялись в чертах его. Он размахивал руками, говорил взглядами. Все это для равнодушных соседей могло бы показаться крайне смешным, но молодая соседка не смеялась. Недолетавшие

звуки отдавались в ее душе сладко-болезненным чувством; она уж готова была отвечать и вдруг стыдливо остановилась.

Тогда, чтоб придать новую силу своей пантомиме и выразить свое отчаяние, молодой человек схватил ножик и устремил его к сердцу.

При этом страшном движении у противоположного окна раздался внезапный крик, и вместо ответа полетел на улицу оторванный цветок. В ту же минуту молодой человек исчез.

Опомнившись от испуга, побледневшая красавица начала робко оглядываться. На улице все утихло. Два извозчика спали, согнувшись, на дрожжах. Шарманщик, взбросив шарманку на спину, исчезал за будкой, весело наигрывая "Уж как веет ветерок". Начинало смеркаться. По тротуару спешил маленький старичок в вицмундире.

- Папенька! - прошептала молодая девушка, поспешно затворяя окно и задергивая занавеску. После этого, нагнув пламенеющее лицо на пальцы, она усердно принялась за вышиванье.

Спустя несколько минут в кухне послышался кашель.

Кухарка отворила дверь. В комнату вошел худенький, сутуловатый старичок, отирая лоб бумажным клетчатым платком.

- Что это ты, Настенька, в потемках-то глаза себе портишь? - сказал он. - Точно поденщица какая, а не штаб-офицерская дочь. А все это ваше французское воспитание... в пансионах этому выучилась. Ну, здравствуй, мой ангел. Устал... нечего сказать, стар становлюсь...

Акулина, - продолжал он, бережно снимая вицмундир и надевая довольно засаленный кашемировый халат, - Вздунь-ка углей, поставь самоварчик, мать моя; точно сто лет чаю не пил.

Акулина отправилась в кухню. Молодая девушка поцеловала у отца руку и торопливо принялась готовить чайный прибор.

Старичок, казалось, был чем-то озабочен. Скрестив руки, начал он ходить по комнате, шевеля губами. Вдруг он остановился.

- А, Настя! - сказал он.

Молодая девушка вздрогнула.

- Что, папенька?

- А который тебе год?

- Да вы сами, папенька, знаете; в сентябре восемнадцать будет.

- А, так, так, - бормотал старичок, продолжая расхаживать по комнате. Да, да... точно... Кто бы подумал? Давно ли ведь, кажется?... А вот уж и невеста...

Вчера родилась, право... А вот и замуж пора... Приданое готовь.

Старичок грустно окинул взором голые стены своей комнаты и снова начал ходить и шептал про себя.

- А легко сказать, приданое... А позвольте доложить, с чего прикажете? Место маленькое, жалованье маленькое, люди мы маленькие - вот тебе и приданое!

Чин, правда, штаб-офицерский, да на одном-то чине далеко не уедешь. И невеста-то хоть куда, да с пустыми руками никто не возьмет - такой, уж известно, народ теперь... Вот если б тысяча сто капитала - был бы уж другой разговор, или тысяча пятьдесят... Ну, так и быть, хоть бы десять тысяч... так ничего бы, пристроить можно, женишок бы уж нашелся... Не важный бы... да не в том дело... был бы человек хороший, с правилами, с благородством, пожалуй, хоть обер-

офицер...

Дмитрий Петрович правду сказал, большую правду...

Ну, что я зевал... Ну, умри я нынче - что же Настенька? А?.. С кем же - она? Надо же подумать об атом.

Пора за ум хватиться... Да-да-да... и очень пора...

Между тем. Акулина принесла на стол журчащий самовар. Старичок успокоился, уселся и взял из рук дочери стакан чая. Но, принимая стакан, он пристально посмотрел на дочь, как никогда еще не глядел на нее, и спросил странным голосом:

- А, Настя, тебе жаль будет, если я уеду?

- Что это вы? - вскрикнула девушка. - Куда это вы думаете ехать, папенька?.. Я без вас буду такая несчастная.

- А бог милостив, Настенька, может быть, все и уладится, все будет к лучшему. Надо ведь и о тебе подумать... Ты этого, Настенька, не знаешь, а виноват я перед тобой.

Неожиданное признание старика поразило невинную грешницу более, чем самый жестокий упрек.

- Вы виноваты? - прошептала она. - Что же я?..

- А ты, Настя, ребенок, ты этого не понимаешь.

Спасибо Дмитрию Петровичу, вразумил он меня, добрый человек.

- Какой Дмитрий Петрович, папенька?

- А наш Дмитрий Петрович, коллежский советник...

ну, казначей наш... Да, бишь, я тебе и не рассказал, а вот какие странные бывают обстоятельства. Дмитрий Петрович давеча говорил мне в департаменте: "Иван Афанасьич, теперь, брат, некогда, а вот заходи-ка вечерком на квартиру. Надо потолковать с тобой об одном дельце". "Хорошо, мол, Дмитрий Петрович, зайду". Поверишь ли, странно мне показалось, что за экстренность такая? То есть в голову бы никак не пришло.

Вечером, как знаешь, пошел. Прихожу. Чай уж отпили.

"Ну, здравствуй, Иван Афанасьич". - "Здравствуйте, Дмитрий Петрович". Ну, хорошо... что, бишь, я говорил?.. Да: "Садись, говорит, любезный". "Не извольте беспокоиться". Сели... "А вот, - говорит он, - братец ты мой, есть у меня знакомая старая графиня..." - "Знаю, мол, Дмитрий Петрович, вы со всей знатью здесь знакомы..." - "Ну, да не о том речь. Вишь ты, у графини-то богатые вотчины в трех губерниях, тысяч никак пять или шесть душ. Барское, слышно, имение, да запущено. Старушка-то это дело мало смыслит. Ну, где же ей, голубушке, и понимать, живет в таком кругу, дама такого звания - где углядеть? Управители грабят". - "А что же, - говорю я, - Дмитрий Петрович?" - "А вот, - говорит он, - спрашивала меня графиня, не знаю ли я надежного человека, чтоб поручить можно объездить вотчины, пересмотреть отчеты, завести конторский порядок". - "Знаю, мол, ваше сиятельство". - "А кого же вы это назвали, Дмитрий Петрович, любопытно бы знать?" - "Да тебя, Иван Афанасьич. Экой ты, братец, недогадливый!" "Меня, Дмитрий Петрович? Помилуй бог, что я за ревизор такой? Тут, чаю, всякие науки нужно знать, а ведь вам известно, я человек простой, учился на медные деньги". - "Да не мошенник, - говорит Дмитрий Петрович, - вот в чем штука! Человеко честный. А вот такого-то и надо. Вот те на". "Помилуйте, Дмитрий Петрович... что же тут удивительного?"

Служу я, правда, по долгу совести и присяги. Формуляр, слава богу, не замарал. Могу сказать, выслужил свой майорский чин. В чужой карман не заглядывал". - "Редкий ты, брат, человек", - говорит Дмитрий Петрович. Поверишь ли, вот так-тгиш и сказал... "Поглядел бы на других... Ну, да это статья особая. В самом деле, чего тебе лучше? Поезжай-ка, брат, славная оказия..." - "Как же, Дмитрий Петрович, а служба-то?" - "Ну, отпуск возьмешь, ведь, верно, в первый раз?". - "В первый-с". - "Ну, видишь, едешь, что ли?" - "А как же дочь-то, Дмитрий Петрович, Настенька?.. Ведь не могу же я ее так бросить". - "Ах ты, - говорит он, - старый болван, братец, седая ты крыса! Ну, умрешь ты, с кем дочь твоя останется?.." А в самом деле, Настенька, коли я умру, с кем же ты останешься?..

- Не говорите этого! - поспешно воскликнула испуганная дочь.

Стоявшая у дверей Акулина перекрестилась и отплюнулась.

Старик продолжал:

- Что, бишь, я говорил... Да! "Ну, говорит, поедешь. Дочку можно будет куда-нибудь пристроить покмест. Да кто знает, может быть и сама графиня возьмет ее в дом. Ведь графиня тем известна, благотельная дама, любит держать при себе бедных дворянок, многим покровительствует; вот недавно выдала воспитанницу свою, Машеньку, замуж. В тридцать тысяч пожаловала заемное письмо - вот она какая! Тут не то что наш брат... тут, братец, знатная протекция. Ну да и тебе, разумеется, награждение будет хорошее, прогоны, харчевые:) на подъем, жалованье... Торговаться не будет.

Этим грешно тебе брезгать. Ведь ты живешь одним жалованьем?" - "Одним жалованьем, Дмитрий Петрович, а копейки нет на черный день. Помилуйте... где же?.." - "А дочь-то у тебя невеста?" - "Невеста, Дмитрий Петрович". "Ну, так вот видишь ли, Иван Афанасьич, перекрестись-ка, да и берись за работу. Не для себя, известное дело... тебе и своего на век хватит, а чтоб свою Настасью Ивановну пристроить. Она ведь, я видел, у тебя красавица, а красавицам в Петербурге без денег, ты сам, чаю, знаешь, не то чтобы... а все-таки... относительно... в рассуждении..."

Тут старичок смешался и тяжело вздохнул.

Молодая девушка ожидала с трепетом. Странно ей было остаться одной, жаль ей было отца, жаль, может быть, еще кого-нибудь и другого.

- Папенька, - сказала она умоляющим голосом, - не ездите, не решайтесь! Мне ничего не нужно. Если вашего жалованья для нас мало, я могу работать.

Иван Афанасьевич обиделся не на шутку.

- Вот славно придумала! - воскликнул он вспльчиво. - Уж не в магазинщицы ли идти угодно, в горничные, чего доброго? Вот, можно сказать, утешила! Вот они, ваши пансионы, ваше французское-то воспитание, чему вас учат! Ведь, что ни говори, а ты у меня теперь дворянской крови. Сама благородная, сама, матушка, графиня... Ну, я-то еще ничего, туда-сюда... куда бы ни шло, а ты уж, матушка, пощади мою седую голову. Не унижай своего звания, не заставь меня краснеть перед людьми - слышишь ли?

- Так вы решились, папенька?

- Ну-ну... нет, не то чтоб еще решился. Как же это вдруг... нельзя-таки. Обещал только подумать, пообсудить хорошенько.

- Не решайтесь, ради бога...

- А ну, перестань ребячиться! Что это в самом деле? Да и спать-таки пора, одиннадцатый час. Утро вечера мудренее. Может быть, что-нибудь еще и придумаем. Прощай, Настенька, прощай, мой светик. Усни хорошенько. Христос с тобой.

Старичок поцеловал и благословил опечаленную дочь, а потом отправился через кухню в чулан, служивший ему спальней. За ним последовала Акулина в звании камердинера. Ставив с барина запыленные сапоги, она, против обыкновения, не пожелала доброй ночи и не ушла к себе в кухню, а осталась с таинственным видом и отворенным ртом перед кроватью надворного советника.

- Ну, спасибо, Акулинушка, - сказал Иван Афанасьевич. - Ступай-ка отдохнуть теперь, мать моя.

- Иван Афанасьич, - сказала шепотом Акулина, - позвольте слово молвить. Выслушайте мою глупую речь.

- А? Что? - с беспокойством спросил Иван Афанасьевич.

Акулина бережно притворила дверь и потом нагнулась на ухо старика.

- Дело молодое, - шепнула она. - Неча пужаться из эвтаких пустяков, а и смолчать-то не совсем аккуратно.

Извольте знать, ваша милость, тут-с насупротив, в балыкинском доме, живут какие-то... Делать, знать, нефчево, песни поют, в трубку курят, прохожих кличат, сущий содом! Ну, оно, извольте знать, ничего, дело молодое...

А уж честных барышень затрогивать, кажись бы, и неладно.

- Что случилось? - закричал старичок, - Да ничего не случилось. А вот я только хотела доложить вашей милости. Сегодня около вечерень стирала я никакие носки для вашей милости. Слышу, идут по лестнице. Я отперла дверь. Думаю, Ванька-дворник дрова несет. Вышла на лестницу - ан тут какой-то барчонок, и пригожий такой, кудрявенький, стоит да и сует мне ассигнацию в руки. Не разглядела я, правду сказать, какую, а рублей двадцать было по крайней мере. "Чего вам надо?" - "А вот, моя красавица..." Ей-богу, так и сказал... Хорошу красавицу нашел! Перед Кузьмой Демьяном пятый десяток стукнет. Тьфу, господи! Такой уж, видно, греховодник!.. Ну, словом, такой лисой подъезжает, что только слушай... "А вот, говорит, красавица, отдай записочку барышне, да смотри, потихоньку, чтоб барин не видал. А будет ответ, так принеси в девятый номер балыкинского дома. Я еще подарю тебя, голубушка". А сам всё деньги сует в руку. Записочку-то я взяла на всякий случай, а денег, говорю, ваших не надо. "Эх, барин, не хорошим, видно, делом заниматься изволите!

Видали мы эфтаких. Ступайте своей дорогой".

- Где записка?.. Записка где? - спросил дрожащим голосом Иван Афанасьевич.

Акулина подала черстой рукой нежную ароматическую записочку. Иван Афанасьевич поспешно ее распечатал, пробежал глазами бисерные строки и вздохнул.

Записка была написана по-французски, а Иван Афанасьевич воспитывался на медные деньги. Он не знал французского языка и в эту минуту чистосердечно проклял модное образование дочери, -которым в обыкновенное время несказанно гордился. Он тер записочку, гладил ее, комкал, считал буквы и строки, вздыхал, кричал и не понимал ни слова.

Подумав немного, он начал шарить в карманах висевшего на стуле жилета и,

не найдя ничего, снова вздохнул.

- Спасибо, Акулинушка, - сказал он, - спасибо, мать моя. Как жалованье получу, непременно подарю тебе... а теперь не взыщи, матушка. Последние отдал лавочнику.

- Помилуйте, за что же? - флегматически отвечала Акулина. - Вишь, что затеяли, пострелы такие! Записочки носят, деньги сулят, красавицей величают - тьфу!

Тут она отвернулась и плюнула в порыве сильного негодования.

- Ну, Иван Афанасьич, не осудите, что маленько потревожила вашу милость, а вот теперь на душе как-то легче стало. Из эвтаких пустяков беспокоиться нечего.

Покойной, сударь, вам ночи, приятного сна.

С этими словами Акулина отправилась в кухню, мигом окончила за шпалерными ширмами свой спальный туалет и немедленно же заснула сном спокойной совести и отличного здоровья.

Старичок остался один в сильном волнении. В руках держал он записку, стараясь по форме букв угадать смысл их, и вспоминал все французские слова, которые пришлось ему слышать на веку; но старания его оставались тщетными: он ничего не понимал. Вдруг в голове его блеснула счастливая мысль. Он поспешно зажег сальный огарок и бросился к старой полке, на которой лежало несколько запыленных книжек, дрожащей рукой отыскал между ними изорванный лексикон и, прижимая к груди драгоценную добычу, уселся к своему письменному столику и принялся за странную работу: он начал переводить по каждому слову любовную записочку, писанную к дочери. Долго сидел он так, согнувшись над столиком и записывая имена существительные, глаголы и местоимения. Фразы не клеились как-то между собою.

Смысл выходил иногда самый уродливый, но Иван Афанасьевич не терял терпения. Пот градом катился по его бледным морщинам; последнее мерцание догорающего огарка отсвечивалось красноватым отливом на седой голове перевод подвигался медленно.

И в соседней комнате не было тоже покоя: там тоже владычествовала бессонница, но бессонница, в которой было более счастья, чем горя, бессонница молодой девушки, которая боится еще любви, а уж не может не любить.

II

ДВЕ БЕССОННИЦЫ

Когда душа наша уснула, убаюканная житейскими волнениями, когда сердце состарилось и рублевые заботы заменили волшебный мир фантазии, мы спим глупо и долго. Не возмутительное виденье, а разве докучливость недуга, разве неотвязчивость бедствия сердито прерывает сон наш. И жалко нам тогда тех счастливых ночей, когда не спалось нам вовсе, когда мы так простодушно отчаивались, так бессознательно надеялись и так сильно, так горячо, так молодо желали. Недолговечны радости, недолговечны и печали. Настает время равнодушия. С грустной улыбкой озираемся мы на старину, и грустно нам и больно, что уж нечего горячо пожелать нам на свете, нечем позаняться с нежной задумчивостью, потерзаться бессонницей.

Не спится молодой девушке. Жарко ей, душно. Голова ее горит. Волосы распустились по плечам. Она мечется со стороны на сторону. То вдруг сбрасывает

она горячее одеяло, то вдруг, как бы стыдясь ночного сумрака, окутывается с ног до головы и прячет в подушки пламенеющее лицо. Что с ней случилось? Откуда эта душевная горячка, этот новый испуг и неведомый трепет? Отчего перед глазами ее хотя не совсем ясно, но неотступно мелькает образ молодого соседа с кудрявой головой, с умоляющим взором? Отчего он невидимо присутствует при всех ее мыслях? Отчего ей страшно? Отчего ей весело? И скука исчезла, и жизнь изменилась. Она сама себя не узнает. Она едва дышит, она изнемогает, она то зовет, то отталкивает милое видение... Она боится любить - она уже любит.

Но как же могло это случиться, и так неожиданно, так скоро? Давно ли она встретила? Всего какие-нибудь три недели, а точно как будто с того времени прошел целый век. Ей кажется, что она и живет-то всего три недели; вся прежняя ее жизнь - совершенно лишняя, бесцветная, бессмысленная. Да жила ли она, в самом деле, прежде, могла ли что-нибудь понимать и чувствовать?

Что она была прежде? Дитя, девочка неразумная. В чем заключалась ее жизнь? Какие остались ей воспоминания? И вот ее недавняя старина, как отдаленное преданье, промелькивает перед ней в ночном мраке рядом одноцветных картин.

Сперва исчезают первые, едва уловимые для памяти годы детства. Нет яркой точки в этом младенчестве; все однообразно, бедно, грустно, серовато. И вдруг мрак усиливается. Она вздрагивает в невольном ужасе. Она видит темную комнату и белую кровать. Кругом черные тени, доктор, священник и бледный, дрожащий отец ее.

Ей слышатся глухие рыдания, страшный шепот и последние хриплые стоны умирающей - то смерть матери...

Картина меняется. Небосклон прояснился. Она в зеленом саду, посреди подруг одного с ней возраста. Вот все ее пансионские товарищи, все ее приятельницы *bons sujets* [Добрые, милые (фр.)], и Маша, и Наденька, и Оленька, и Верочка. Вот и наставница с сердитым видом и доброй улыбкой. Вот все учителя, священник-батюшка, противный немец, обожаемый преподаватель русской словесности, болтун француз, вертлявый танцмейстер, ученый физик... вот все они, которых обожали и ненавидели. Теперь они все равно милы... Как столько лет могло пройти так скоро!

Давно ли она завидовала городским, а теперь она сама городская! И жаль ей прежнего времени, жаль неумолимого звонка, который будил ее утром в шесть часов, когда сон манил еще ее светлыми сновидениями. Пестрый рой молодых девушек подымался поспешно и весело, как покидают свой улей молодые жужжащие пчелы.

Вот наступает час урока. Шумно садятся девицы на места; кто повторяет заданное, кто вытирает черные доски, кто чинит мел для учителя; иные, сидя на лавках, перешептываются и смеются, другие же зевают от скуки. Дежурная дама старается восстановить общий порядок, угрожая, по обыкновению, рапортом. Наконец дверь отворилась, и, громко шаркая, влетел в классную завитой немец, прыгнул на кафедру и начал говорить об экзамене. Плохо учились в то время, но зато сколько было тогда невинных шалостей, беззаботного счастья, ребяческого нетерпения! Какую прекрасную будущность устроила тогда Настенька с своими приятельницами!

Они век останутся сестрами, будут видеться каждый день, будут долго любить